

Елена Шастина

Дорогой сказки

Ведь где-то кто-то должен же был стерегчи меня, раз я сирота. Меня слово стерегло...

Слово – оно хуже стрелы, лучше пули возьмёт.

Ф. Е. Томшин

Старцево – деревня таёжная. В две улицы растянулась у самой Лены-реки. А позади подступили горы. Щетинятся чёрными елями, размахивают мохнатыми кедровыми лапами, грозят пиками-сучьями покалеченные ураганом могучие сосны. Трухлявые колдобины завалили узкие тропы, непролазной чащобой встал кустарник.

Нелегко человеку в таком лесу.

Но старцевцы к нему привыкли. По несколько месяцев проводят они в тайге, добывая белку, соболя, лису-огнёвку, медведя – лесного хозяина.

И все бы им нипочём, если бы не лесные люди. Нет-нет и напорешься на лесового. И хотя знают старцевцы, что смотреть на него не положено, а все любопытство берёт.

– Увижу, хоть тут что мне! – похвалился как-то охотник шаромыга. Скараулил лесового и уставился на него: не шибко высокий, но толстый, на обыкновенного человека походит.

– А-а! Ты подглядел меня?! Теперь сегодня же кончишься. И получай свою смёрточку!

Тот только до зимовья доплёлся, успел другим охотникам пересказать и спёкся.

А тут опять как-то сам показался (когда сами-то, не опасно). Ему, ишь, побороться захотелось и показать свою удачу. Представился пацаном: маленький, тохонький такой и говорит охотнику:

– Давай поборемся.

– Да ты что? Я же возьму тебя, у тебя и ребки затрещат.

Тогда пацан взял того охотника за ноги, поднял кверху, подержал сколько-то и опустил на землю.

– Смотри-ка, какая у тебя удача?! – удивился охотник.

– Я могу любой камень, любую гору раздавить, – сказал пацанёнок, и не стало его.

Охотник и догадался, что это лесной человек был.

Вообще-то они, лесные, не больно злые. Но относиться к ним надо с опаской, порядок знать.

А так они справедливость любят и за добро добром платят.

Вот в Сурове-деревне пошёл как-то Семён со своим дедом в лес. Рано вышли, не развиднялось ещё. Слышат – ребёнок плачет. Где? Смотрят – на дереве, на ветке зыбка сделана и очипь¹. Что делать? Покачать – беда и не покачать – беда. Но плохого нет всё-таки, если ребёнка покачать, подумал дед. Высек длинную палку, чтоб до зыбки достать, и покачал. Ребёнок и престал плакать.

Видит – женщина высокая по лесу быстро-быстро идёт.

– Вы что тут делаете? – спрашивает.

– Да вот: шёл по лесу, услышал – ребёнок плачет. Думаю – что делать? Взял и покачал зыбку.

– Спасибо вам большое, – говорит женщина, – а я то к мужу ходила, харчи носила ему.

– А как же вы оставляете ребёнка?

– Дак что сделаешь? Жись такая: и дома, и в поле – всё нужно. Но я с тобой за все рассчитаюсь. Пойдёшь дале, там ключ. Под елью пару соболей найдёшь.

Он пошёл туда и точно – пару соболей добыл. Вот и расчёт.

Лешиха расплатилась.

¹ Очипь – гибкая палка. На такие в сибирских деревнях подшивали зыбки.

Обо всем этом поведал мне ленский старожил – посказитель Филипп Егорович Томшин. И хотя давно всё то было («ещё по единоличной жили»), но крепко старое зацепилось за душу и по сей день будоражит воспоминаниями.

Теперь уж и деревни той нет. А в то давние годы жили старцевцы со зверями да лешими, рождались и умирали здесь, по-своему толковали события, кроме тайги, нигде не бывали и у себя новых людей почти не видели. Разве что «странных» или «пришельцев». Так называли они разного рода прохожих, что брели через их деревню. Одни из них – беглые, «политиканты», другие – с нижнеленских золотых приисков. И те, и другие пробирались к железным дорогам, к поездам, которые умчали бы их в разные края, покинутые, как правило, не по своей воле.

«Странные» просили ночлега, за который рассчитывались чем могли. Но чаще – сказкой. Сказку в Старцево любили. «Всей деревней рассказывали, – вспоминает Филипп Егорович, – друг перед дружкой выхвалялись. Придёшь торопно к соседу за чем-нибудь и засидишься. Слушаешь, аж мурашки по коже бегут».

И даже не очень-то приветливые к новому человеку старцевцы становились обходительными с теми, кто умел рассказывать.

Один из них особенно запомнился Томшину: молодой, голубоглазый, он долго ходил по деревне в поисках доброго хозяина.

– Пустите, из милости прошу, – взмолился он, наконец, в доме, где жил тогда четырнадцатилетний Филипп.

– А чем за ночлег платить будешь?

– Гроша у меня ломаного нет.

– А чем другим, может?

– Да вот сказку могу рассказать, если вы любители слушать.

– Есть у нас любитель, вон сидит, – показал хозяин на Филиппа, – да и мы не прочь.

– Ну вот, мы и сошлись, – подмигнул мальчику прохожий, – Спать нам не придётся.

И завёл сказку. Рассказал и спрашивает:

– Запомнил?

– Запомнил.

– Повтори.

– Да как зачем я повторять буду? Вы мне рассказали, а я вам?

– Да не затем, чтоб повторно слушать. Может, какие слова ты пропустишь, я тебе их на место поставлю.

Но Филипп не пропустил ничего, «доразу» всё запомнил. В четырнадцать лет он был уже известный в своём селе посказитель.

Сказывать начал Ф. Е. Томшин совсем рано, «как только балякать стал».

– Люди меня учили, тренировали....

Филипп Егорович часто вспоминает эту радостную, а порой и горькую школу посказительства:

– Окружат и начинают всякие присказки говорить, а я чтоб повторил.

Клал коврички на коврички,

Потнички на потнички,

Сверх потничков черкасское седелочко.

Стал подтягивать

Двенадцать подпруг шёлковых,

Двенадцать полушёлковых.

Как булат не трётся,

Шёлк не рвётся,

Чистое золото грязи не боится –

Добрый молодец на коня садится.

До устали заставляют маленького Филиппа повторять. А пацанёнок понятливый, ничего, что ему только пять – целиком большие сказки рассказывает и до тысячи считает. Взрослых

забавляет, что ребёнок мгновенно запоминает всё и, смешно картавя, пересказывает. Поэтому и подбирают ему потешные:
Мой конь-хохотун, мой быч-мыч
Моя чушка в грязюшке, мой баран по горам.
Моя утка-водомутка,
Мой петух-крекотух, моя курица-черношейка,
Мой гусь-подсерусь...

В избе стекла дрожат от смеха, и все требуют ещё и ещё. До слёз допекают. Иногда целую ночь спать не дают. А когда и ножом страшат. Что ж? Его, Филиппку, страшать можно, потому что заступиться за него некому. От матери годовалый остался. А теперь и отец помер. Собрались тогда сельчане и порешили всем миром кормить восьмерых сирот. И чтоб не нарушить порядок в кормлении, расселились в большой избе в несколько рядов и «по порядку номеров» определили, кто за кем кормит.

Ничейный теперь Филиппка, каждый может сделать с ним всё, что захочет. Захотят – покормят, не захотят – нет. Иной раз лучше и голодом отсидеться, чем в чужой дом идти. Семи лет взяли Филиппку в семью – нашлись добрые люди. Они же и в школу определили. Только поучился Филипп всего два года и то лишь с осени да весной прихватил – зимой ходить было не в чем. А после начались скитания. Бродил по деревням, рассказывал сказки, тем и кормился.

«Сказки у меня на сорта были – вот как книги в библиотеке, – говорит Томшин. – В библиотеке ведь книги выбирают, о чём хотят. Так и у меня на сорта: про богатырей, или про змеих ли, про разбойников, про зверей ли. Про всё, что есть на свете, знал. Неделю про богатырей рассказываю. Надоест, – про разбойников начну или про что другое».

Но сказка не только кормила. Могучим заступником и чудесным оберегом от лихих людей было умело сказанное слово. Это хорошо понял юный сказитель ещё в трудные годы отрочества.

«Слово – оно хуже стрелы, лучше пули возьмёт. Я уже тогда знал это», – сказал мне как-то Филипп Егорович и поведал следующее: «Шёл я однажды через Хомутово – зловредная такая деревня была. Смотрю, на выходе уж, за косогором, пацаны меня поджидают. Подошёл.

– Выкладывай деньги, – говорит верзила такой, наверное, уж годов восемнадцати – ты ведь за сказки-то много насбирал!

– Нет у меня ничего, – отвечаю.

– Врёшь! А не выложишь – сейчас закидаем тебя камнями, – и приказал ребятам:

– Кидайте в него!

Те-то мальцы боятся послушаться и давай кидать. Каменья, как листопад, летели, но меня никак не доставали.

– Стойте, – сказал верзила. – Сейчас я его ножом пришью.

Подскочил ко мне с ножом. Я и говорю ему:

– Если убьёшь меня, плакать обо мне некому: я как есть сирота. Но от трупа моего не отойдёшь, навечно стоять будешь!

Спокойно так сказал и сел на коряжину. А он с ножом в поднятой руке так и очумел и часа три простоял, как памятник...

Вот како приключенье. Ведь где-то кто-то должен же был стеречь меня, раз я сирота. Меня слово стергло».

Рассказ Филиппа Егоровича совершенно ошеломил и вместе с тем привёл в восхищение. Вот они, эти извечные тайны могучего психологического воздействия слова. Эти первобытные и казнь, и терапия, которыми испокон веков мастерски владели наши далёкие предки и которые канули в Лету, во многом не разгаданные, а порой и «заклейменные» их образованными потомками².

² Подробнее см. об этом кн. Гарри Райта «Свидетель колдовства». М., 1971.

Сам Томшин чем-то напоминает кудесника. Неторопливый, с тихим приглушенным голосом, он умеет полностью завладеть слушателями, перенести их в тот чудесно-реальный мир, который так тщательно и детально живописует, как будто сам принадлежит к нему.

– Ты так рассказываешь, как будто и в бандах был и со змеями воевал, – раздалась однажды чья-то реплика.

– А как же?! – Томшин тихо усмехнулся – и нам: – Посказитель такой и должен быть.

О том, каким должен быть посказитель, Филипп Егорович действительно серьёзно думает. Он по-своему определяет интересы и угол восприятия той аудитории которой собирается рассказать.

Помню, как во время нашей последней встречи молодая женщина-врач жаловалась на вновь поступившего больного Томшина:

– Не контактен. Уже почти сутки у нас, а всё молчит.

Я подивилась странной молчаливости Томшина, который ещё накануне без устали рассказывал нам сказки, смешил забавными случаями, а навестив его в палате, поняла.

– Что же вы, Филипп Егорович? Хоть сказку бы здесь какую рассказали.

– А я и расскажу. Но вперёд людей послушаю, а потом на них сказки свои прикину, какие подойдут, – застенчиво-хитро ответил Томшин и виновато улыбнулся.

Эта особенность – мысленно «прикидывать» интересы будущих слушателей выработана, должно быть, долгим опытом и характерна во многом для сибирской сказительской школы. Любопытные наблюдения о последней были высказаны в своё время М. К. Азадовским. Учёный не без основания отмечал «следы влияния поселенчества» в сибирской сказке, идущие от особого профессионализма сибирского, добавим от себя, ленского, сказочника, для которого сказка – «не только простая забава, не только средство развлечения, но существенный момент добычи пропитания, в некоторой степени ремесло».

Поселенческое влияние в сибирской сказке учёный видел «не в сюжетной теме и даже не в бытовых подробностях. Это влияние – не в содержании, но главным образом в её форме»³.

М. К. Азадовский приводит интересные дневниковые записи, когда одну сказку рассказывают по два дня. «Так повторяется расчёт Шахсрезады. Нужно так построить сказку, чтобы «пронять» вообще-то не особенно податливого сибиряка челдона, чтобы заслужить ночлег, ужин... А главное, нужно умело з а т я н у т ь (разрядка М. Азадовского) сказку, чтобы она не кончилась к тому моменту, когда пора к «ужне» итти»⁴.

Именно таким сказочником-профессионалом предстал перед нами Ф. Е. Томшин – живое олицетворение той самой, типично ленской сказительской школы, которая так широко была представлена в прошлом и почти исчезла теперь.

Мы только ахали, как на резких поворотах при быстрой езде, когда Филипп Егорович рассказывал сказки... «Колобок». Откровенно говоря, про колобка слушать не хотелось. Уже несколько дней мы увиливали от непонятно настойчивого предложения Томшина рассказать её. Но Филипп Егорович всё-таки начал:

«В некотором царстве, в некотором государстве...»

Мы насторожились. Начало явно не вязалось с бытовой сказкой. Однако дальше пошло всё, как положено: лукавый колобок, который «и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, и от Зайца, от Волка и от Медведя и, наконец, попался Лисе»⁵.

Съела его Лиса, а тесто – мягкое. Тёпленько от него Лисе стало, разморило её, она и уснула на дороге. А мимо ехал мужик с возом рыбы. «О-о! Дохлая лисичка, подумал он, – вот фарт старухе!» – и начинается известная сказка о том, как Лиса крадёт рыбу с воза⁶.

³ Марк Азадовский. Сказки Верхнеленского края. Цит. изд., стр. 17.

⁴ Марк Азадовский. Сказки Верхнеленского края. Цит. изд., стр. 17-18.

⁵ «Указатель», № 296 («Колобок»).

⁶ Там же, № 1.

«Оживела от омулей», – замечает рассказчик и уже повествует о голодном волке, который поверил Лисицыным басням («в проруби омулей наловила») и приморозил ко льду хвост⁷. Но и на этом проделки Лисы не кончаются. Она нанимается к бедняку пасти кур и, конечно, пожирает их.

«Сбубенил» её за это мужик «как следоват», и Лиса взмолилась: «Отпусти-ка ты меня, не убей до смерти. Не пожалеешь». И как «Кот в сапогах»⁸, хитрыми уловками она помогает мужику жениться на царевне.

«Я там был, мёд-пиво пил... – говорит сказочник. Делает небольшую паузу и вдруг заявляет: – Но это присказка. Сказка ещё впереди» – и мы уже слушаем историю о том, как Лиса добывает герою дворец великанов. И снова резкий поворот: всё повествование переходит в принижено бытовой план. Сказочный герой становится прижимистым и несимпатичным старосибирским крестьянином. Он не помнит добра и прогоняет Лису из того самого замка, который она же ему добыла: дабы кур не давила, потому как хозяйство у мужика теперь огромное «скатины всякой навалом».

Лиса также меняет традиционную линию фольклорного поведения. От её хитрости и ловкости не остаётся и следа. Она попадает в руки великанов, и один из них не по сказочному жестоко расправляется с ней: привязывает к своему сапогу и отправляется в путешествие – «только шкурка от лисы и осталась». Отвязал её великан с сапога, размахнулся и впустил в том направлении, где бывший его дворец стоял. Упала лисья шкура к ногам того самого мужика, для которого Лиса так много сделала. И он рассудил цинично: «Ну что ж? Хоть шкура осталась. И то жене на воротник сгодится...»

Филипп Егорович замолчал и вдруг сам на себя рассердился за такой конец.

– А почему мужик-то таким злым оказался? – не удержался один из слушателей.

– Так уж вывернулось у меня, – сердито буркнул сказочник и досадливо махнул рукой. Но через минуту улыбнулся, и, должно быть, вспомнив виртуозность созданной им композиции, горделиво заметил: – А лохко я их соединяю. Это чтоб всё ходом шло.

И через некоторое время уже так же «лохко соединял» в единый другие сказочные сюжеты. «Жил старик со старухой. У старухи был кот-проказник. Что ни поставишь, он всё спакостит да спакостит. У старика опять собака была. Чо ни поставь, она спакостит да спакостит.

Надоели такие животные деду и старухе, разругали они их:

– Таки-сяки, разэдаки-таки, эвакуируйтесь отседа...

Идут Кот с Собакой, запечалились. Навстречу им Лиса:

– Здравствуйте, кто вы такие будете? И как вас звать-величать? – спрашивает.

– Я, – говорит, – Кот Котофеич из сибирских лесов. Крупный начальник я».

И дальше – с детства всем известная сказка о том, как кот нагоняет страх на лесных жителей: Лису, Волка, Медведя, и те кормят его и Собаку⁹. Однако – это также присказка, потому как, хотя и сытно в лесу Коту и Собаке, но они «к домашности привыкли». И когда наступают морозы, их, уже совсем замерзающих, подбирает парень, и... начинается волшебное повествование о том, как помогают Кот и Собака выполнить новому хозяину трудные задачи¹⁰ и жениться на принцессе. Но это опять не конец. Коварная принцесса похищает у парня волшебное кольцо и убегает к принцу.

Героя царь прячет в столб, а Кошка и Собака похищают чудесное кольцо у принцессы, возвращают его хозяину и тем самым спасают его¹¹.

Томшин – мастер не только сложных сюжетных сплетений и поворотов. Так умело затянуть рассказ никто из его знакомых посказителей не может. Не два, а пять дней рассказывал Филипп Егорович одну и ту же сказку, правда, давно, до того, как сгорело Старцево.

⁷ Там же, № 2.

⁸ «Указатель», № 545 В («Кот в сапогах»).

⁹ «Указатель», № 103.

¹⁰ Там же, № 554 («Волшебные животные»).

¹¹ Там же, № 560 («Волшебное кольцо»).

Что-то сделал пожар с Филиппом Егоровичем: словно пришёл кто-то и унёс лучшие его сказки. А пожар, если правду сказать, был – «страшнейший». Ни одной избы не осталось. Будто кто могучей рукой орудовал: сперва сгорело у леса (в два ряда дома стояли: у реки и у леса), а потом – как кто трубу большую взял и повернул пламя на другую улицу. И она сгорела.

А всё потому, что проклянённая деревня была. Стояла она низко, и как половодье – маята со скотом: перегонять на другой берег надо. И все по льду перегоняли, и все ночью. А ночью спать охота, и люди ругались спросонок: «А, будь ты проклята! Стори ты синим огнём!» Вот и сгорела. Потому и вода огонь не брала: ведро воды в огонь выльют, а она всё под землю уйдёт, и из-под земли – пламя!

С тех пор многие сказки забыл Филипп Егорович, «головой забыл». А может, и не от пожара это всё с ним приключилось, а оттого, что знал слишком много.

«Человеку много знать не положено, – рассуждает Томшин. – А я очень много знал. Пришли как-то ко мне ребята из четвёртого класса, хотели сказки мои посчитать. «Со счета собьётеся», – сказал я им. Они до трёх раз считали (по названиям только) и всё сбивались... Вот. Лишнее, видно, с меня и сняли, оставили, сколь положено».

Хотя и полагает Филипп Егорович, что многие сказки забыл, тем не менее удалось нам записать от него около 60 текстов. Среди них и волшебные, и о животных, и лесные были. Но больше всего Томшин тяготеет к чудесному повествованию. «У каждого на свои сказки талант», – говорит он и переводит в волшебный план часто даже такие, которые, казалось бы, совсем ему не соответствуют. Читатель уже мог убедиться в этом на примерах «Кота Котофеича» и так называемого «Колобка».

Вместе с тем, сохраняя традиционную сюжетную тему волшебной сказки, Томшин, как правило, разрабатывает её исключительно в бытовом плане. Притом не просто вводит в чудесное повествование детали быта, а как-то удивительно органично растворяет волшебное в реальном. Неторопливо ведёт он слушателя этими сказочными и такими житейскими дорогами, подробно и тщательно оговаривает мельчайшие подробности, создаёт иллюзию действительного крестьянского быта так хорошо знакомых ему приленцев. Порой эти картины настолько ярки, так насыщены сочным живым диалогом, что, если бы только что не упоминались сказочные чудовища, змеи и другие чудесные персонажи, ирреальность их трудно было бы себе представить.

Вслушаемся в разговор солдата с волшебным существом, появляющимся «ниоткуда» в зимовье:

«– Можно у вас отобедать? – спрашивает великан.

– Почему нельзя? Можно! – отвечает ничуть не испугавшийся солдат.

Великан оглядел стол:

– Да кого же тут исти-то? Исти-то у тебя некого. А вот раз ты уважил меня, пригласил – пойдём ко мне, я тебя угошшу!»

У великана:

«– Да ты угошайся сам и своим рукам доставай продукты, ешь! И я с аппетитом поем с человеком. А то мне просто не лезет, – говорит, – ись не могу один никак. А теперь так наемся и напьюсь, что и свалюсь тудока.

А солдат – не дурак: как тут исти-то и пить в чужом помещении? «Напейся-ка – он тут меня и кончит, – думает. – Кто его знает. Люди-то ведь всякие!»

Так же «запросто» разговаривает купеческая дочь со змеем, который, по её определению, «человек не православный, а змей летучий».

«– фу, русским духом пахнет, – говорит он.

– Да от тебя волокёт, как от волокуши какой... Ты там валялся, катался всяко, вот от тебя и прёт разным духом!

Ну, Змей замолчал, делать ему нечего?»

Совершенно великолепен в этом смысле конец сказки «Про трёх сестёр». Напомню вкратце её сюжет: у купца потерялись три дочери. Разыскивать их нанимаются дед и три солдата.

Далее все подвиги совершает дед: побеждает «самого с ноготок», убивает змеев, приводит трёх сестёр, ещё и приносит чудесным образом смотанные в клубки золотые дома, которые таким же волшебным способом разматывает – ставит в их родных местах.

И вот, когда довольный счастливым концом хозяин-купец собирается устроить по этому поводу пир и, по-видимому, рассчитаться с теми, кого он нанял для поисков, дед говорит:

«– Ты, как хозяин, не торопись наставлять на столы. Я тебе кое-что маленько расскажу: вот к примеру – первый солдат. За него ты отдашь одну свою дочь. Так? За второго – вторую. Так? За третьего – третью. Им платы никакой не надо. Это все товар твой – дочеря, – вот имя и деньги! А каки шло им деньги надо? А как я все это изделал, мне уплатить надо. Ясно будет?»

– Да, – говорит, – вы правильно рассудили!»

Однако деда не устраивает решение лишь «сверху». Ему нужно знать мнение на этот счёт и солдат.

«– Ты ишо у них спроси, чо они тебе скажут?»

– Ну как, ребята? Ничо? Против вы не пойдёте? – спрашивает их хозяин и уже от себя поясняет: «...дед с вами ходил и такое предложение внёс: в общем, вам платить нечего денежки. Вам денежки – вот: ваши жёны и невесты. Как вы, согласны ли, нет на это? А потом вы и входите во всё готовое. Домики вам не строить. А кто их строил? Дед! А за работу надо ему уплатить – одно! А если перевозить дом с места на место, его надо выкупить, перевезти и сложить. Это же надо все нанять! И заплатить. А сколь будет стоить одна избушка? Так. Да второй, та третий дом. Ну-ка, подшытайте, на какую сумму?!

...Подшытали... Взял эту сумму хозяин и поднёс деду.

– А я, – говорит, – понимаю этого ишо заплачу вам».

Такая длинная выдержка приведена неслучайно: дело здесь не только в превосходно сработанной жанровой сценке, из которой прямо-таки встают живые люди (об этом несколько ниже). В приведённом примере отчётливо проступает особая характерность томшинских сказок, касающаяся их морально-этической стороны. Дело в том, что все положительные герои Томшина в высшей степени справедливы. И это, безусловно, черта истинно народная. Но в то же время она представляется и глубоко личной, сугубо индивидуальной, выстраданной нелёгкой жизнью и временем, когда морально-нравственные начала значительно активизировались в крестьянской психологии.

Усиление морального, нравственно-оценочного момента можно наблюдать во всем современном сказко-творчестве. Явление это неслучайно и вызвано теми крупнейшими революционными сдвигами в жизни общества, которые произошли в конце XIX – начале нашего столетий. Резкие общественно-политические изменения неизбежно породили новые, часто прямо противоположные существовавшим раньше, принципы морали, которые, как и всякие принципы вообще, были, по определению Маркса, «теоретическим выражением практического движения». Поэтому этические категории долга, чести, совести, счастья, справедливости активизировались в народном художественном мышлении и во многом наполнились новым содержанием.

Вместе с тем современный сказочник, развивая и традиционный сюжет, почти всегда привносит в повествование совсем не традиционные бытовые или психологические начала морально-оценочного характера. Они возникают в результате психологического соотнесения того или иного фольклорного образа с жизненной обстановкой той социальной группы, к которой принадлежит сам рассказчик. Такие детали отвечают его представлениям о том, как поведёт себя тот или иной герой в подобной ситуации. Определяясь взглядами социальной среды сказителя, нравственные представления в то же время несут на себе печать его творческой индивидуальности, отражая умонастроение, психологический облик, художественный вкус и превратности его личной судьбы.

В этом смысле особо хотелось бы остановиться на фигуре только что упоминавшегося деда. По органичности соединения традиционного и индивидуального, т. е. выразившейся в нем специфической фольклорности он уникален! С одной стороны, томшинский дед – из

породы тех «мудрых старцев», которыми народное творчество богато. С другой – в нём проступают черты личной биографии сказочника, которые так манят назвать деда лирическим героем Томшина. Но эти личные черты растворяются в особой социально-биографической типичности, вообще характерной для определённой части сибирского и, в частности, ленского населения начала столетия, вынужденного жить бродяжничеством, добывать пропитание какими-либо случайными способами. Таков томшинский дед, который, по-видимому, тоже «жись провёл» в скитаниях. Теперь ему «ишо идти далеко», и он согласился наняться к купцу на розыски, потому что платит тот «за все дни, и за труд, и за ходьбу».

Напомню эпизод первой встречи с ним:

Дед «потрахлает» к большому купеческому дому:

«– Ночевать можно, нет у вас?»

– Пожалуйста...

Ужинать посадил их хозяин и уже на покой ведёт, а сам говорит:

– Вы не слыхали, у меня три дочери потерялись?.. Ты, дед, не слыхал ли какого разговору?..»

Сразу замечу, что небольшая картина эта, типично сибирская, точнее, ленская, живо перекликается с многочисленными рассказами ленцев о прохожих, о бесконечных расспросах «странных», о разных «слухах», которые велись особенно после ужина долгие зимние вечера.

Но вернёмся к деду. Он сразу же соглашается на предложение купца наняться разыскивать дочерей, потому что и «денежки не лишны будут», да и «не тяжела кака работа там – розыски идти делать».

Таким традиционно сказочным волшебником и вместе с тем глубоко сибирским не то бродягой, не то таёжным охотником проходит томшинский дед через всё повествование.

Вот он в зимовье. Старик сварил «ужну», «навесил чай» и теперь сидит у огня в тяжёлом раздумье: куда девалась дорога, «кто украл её, спрятал?»

Появляется «сам с ноготок», и перед слушателями развёртывается яркая и зримая сцена единоборства карлы с дедом, ловким, воинствующим и мудрым:

«...Дед цап его за бороду!

– Покажи дорогу!.. Куда она идёт? Где она?

– Кака дорога? – отвечает «сам с ноготок». – Кончилась она, ваша дорога.

– Дороги конца нет! Дорога, она идёт круг бела света, – говорит дед. – Вот так вот! Ты её скрыл, дорогу... Где она? Покажи! Не покажешь... – вон шшель, видишь, у зимовья? Сейчас как тебя туда запроу, так и засохнешь там навек!

– Нет, нет, – взмолился «сам с ноготок», – я покажу тебе дорогу, только не пихай меня туда, – махнул рукой, и дорога появилась.

Дед посмотрел, посмотрел, взял да и запихал его в шшель, ишо и законопатил. «Не то, подумал он, ишо догонишь да ишо и кончишь нас тудока».

Эта расправа деда с карлой, кажущаяся, на первый взгляд, несправедливой (старик нарушает слово), на самом деле глубоко оправдана традицией. Народная мораль, требуя от положительных героев благородства и честности во взаимоотношениях, вместе с тем разрешает лукавить с врагами. Последнее идёт, по-видимому, ещё от той старорусской народной морали и психологии, которая так ярко выражена во всей древней русской литературе¹², а также во многом объясняется художественным методом фольклора с его

¹² К интересным выводам на этот счет приходит И. П. Еремин, исследуя «Повесть временных лет»: «Мораль летописца — конкретна, добро для него — только то, что несет в его понимании благо Русской земле; зло — все, что угрожает ее благополучию и процветанию... Нарушение клятвы, вероломство и предательство — тяжкий грех, но не по отношению к врагам Русской земли; когда в 1095 г. в Переяславль к Владимиру Мономаху пришли на «мир половцы — Илтарь и Кытан, дружина посоветовала ему убить послов. «Како се могу створити, роте с ними ходив?» — спросил Владимир; дружина так ответила

принципами широкой типизации, позволяющими не только «охаивать» отрицательного героя, но и позволять в борьбе с ним лукавство и обман.

«Я на силу надеяться не буду, а на хитрость, – говорит другой герой Томшина – богатырь Иван-Горошина. – Хитрость силу побеждает. Вот так вот!»

Томшинский бывалый дед умён и ловок, расчётлив, справедлив и хитёр: сначала других послушает, потом уж сам скажет.

«Где, по-вашему, искать надо? – пытается он молодых солдат. – Вы ведь, молодые люди, должны соображать. Дак где?»

«Нет, голубчики», – отвергает он их предложение к задаёт другой вопрос, вновь прежде выпрашивает, потом предлагает своё. Он по-хозяйски основателен и практичен: наделав из бычьей кожи ремней, по которым предстоит взобраться на высокую скалу, тщательно проверяет их крепость, рассудительно замечая при этом: «А ну-ка, порвись они там где-нибудь – чо получится? Крах получится!»

Первым поднимается дед по ремням на скалу и, разрешив солдатам «пить да гулять», уходит на поиски девушек один, потому что ещё «крепкая удача». И старик хвалится удачей-силой, намекая на какие-то совсем не сказочные события: «Я ишо на борьбу пойду, – так шайку размету, как надо... На меня нападать трудно. Я шайку раздевал, один себе. А вам не приходилось того делать, наверное. Да-а...»

Это «Да-а...» такое многозначительное и лирическое, переносящее старика в давние, не высказанные вслух воспоминания, отзываются и в услужливой памяти слушателя, будоражат воображение картинками, вполне реальными, из нелёгкого и сложного дореволюционного прошлого Приленья.

Читатель уже ощутил, конечно, ту особую, сибирскую атмосферу, которой окружён и этот интересный дед, и вся система томшинского сказа. Однако было бы ошибкой относить её за счёт так называемого «использования» отдельных сибирских терминов или каких-либо иных формальных признаков. Сибирская атмосфера сказок Томшина коренится, несомненно, в более глубоких творческих импульсах, идущих от мироощущения сибирского крестьянина, от сибирских особенностей в характере¹³. Поэтому все художественные образы сказочника не просто несут локальный отпечаток, но дышат Сибирью, связаны с ней по своей сути. Именно таким является эпизод предоставления ночлега прохожим солдатам и деду, с которого начинается сказка «Про трёх сестёр». Таким же сибирским воспринимается и все последующее повествование.

Вот сцена в зимовье. Однако не сама по себе «зимовейка» – обязательный атрибут сибирской тайги – создаёт это впечатление. Дело совсем не в ней, а в той общей обстановке, на которую «работает» каждая деталь томшинского рассказа: это и предполагаемый героями «угар», который «должно, получился» от сложенной наспех лесной печурки, и «навешанный» таёжным способом непрременный чай, который сопровождает завтрак, обед и ужин сибирского крестьянина, и законопаченные от жестоких сибирских морозов стены зимовья, и, наконец, фигура самого деда, задумчиво сидящего у огня и пытающегося разгадать «тайность»¹⁴.

ему на это: «Княжне! Нету ти в том греха; да они всегда к тебе ходяще роте, губять землю Русьскую и кровь хрестьянску проливають бесперестани». И послуша их Володимер» (И. П. Еремин. Литература древней Руси. М., — Л., 1966, стр. 53).

¹³ Не разделяя точку зрения на сибиряка как на «особый тип», отличный от великорусского, тем не менее нельзя не признать в характере сибирского крестьянина известного своеобразия, вызванного специфическими условиями быта среди суровой природы и историко-экономическими условиями развития края.

¹⁴ Вера в волшебную силу огня, способного подсказывать людям в минуту опасности правильное решение, была свойственна в прошлом сибирякам и особенно малым народностям, населяющим этот край. Почтительное отношение к огню можно встретить во многих эвенкийских сказках. Любопытны в этом смысле записи Т. И. Петровой: «Во время

Такой же насквозь сибирской видится и другая сказка Томшина «Приключения двух охотников». Уже само название её сообщает повествованию определённый настрой. Слушатели узнают о двух мальчиках Александре и Василии, которые заблудились в тайге и нашли приют у старого охотника.

«Я – таёжник, охотник, – говорит он про себя. – И вы станете охотниками. Я ведь тоже когда-то заблудился и вырос в лесу. И состарился в лесу».

Однако, как и в предыдущей сказке, самым значительным является обращение к психологии героев (в той, конечно, мере, в какой позволяет фольклорное искусство):

«Я вырос в лесу. И вот теперь я без лесу быть не могу, – признается своей жене уже взрослый Александр. – Хоть ты мне золота насыпь – оно мне наместо сору. Вот если я уйду, хотя на день в тайгу, то буду весёлый такой, будто где-то чего-то взял...»

Даже известный фольклорный принцип широкой типизации не помешал сказочнику в какой-то мере проявить сибирские особенной в характерах своих героев. Наиболее чётко это сказалось в диалогах: в их размеренной неторопливости, в подчёркнутой всем синтаксическим строем манере не удивляться неожиданным известиям и новому человеку, идущей, очевидно, от близкого общения с малыми народностями Сибири (эвенками, бурятами и др).

«Дед пошагал... видит – вдалеке огонёк горит. Ну, чо? Мало ли кто не бывает? Охотник, может, или ещё кто тамака...»

Так же не удивляется купеческая дочь появлению деда в золотом доме змея. Она только спрашивает:

– Ты, – говорит, – дедка, куда? – И узнав, что он пришёл спасать её, точно по-ленски отвечает: – Но, но. Заходите в избу-то... Мой муж, знаешь, какой? Не православный человек, а змей летучий.

– Да, – говорит дед, – всяко бывает...»

В этом коротком диалоге два момента по степени проникновения во внутренний мир приленцев поистине замечательны. Первый – это сибирское «но» в значении «да». Не сибирякам, может быть, его и не понять. И что «сибирского», скажут, в этом коротком, незначительном словечке? И почему именно оно связано каким-то таинственным образом с психологией сибиряка, а не более характерное, например, «чо»? Объяснить это трудно. Наверное, нужно самому услышать интонацию этого «но», увидеть то выражение, с которым оно говорится и вместе с тем понять внутреннюю причину его произнесения, чтобы уловить разницу между силой эмоции (каждый раз новой!), в нём заключённой и внешне бесстрастной манерой её выражения – этим монотонным «но», за которым сдержанность характера, незаурядная сила духа. К тому же это «но» несёт и социальный оттенок: сибирская интеллигенция, как правило, его не употребляет.

Такой же великолепной деталью в свете высказанного представляется и реакция деда на известие о змее – «человеке неправославном». «Всяко бывает», – только и говорит невозмутимый дед.

моей поездки, – пишет она, – бывали такие случаи: соберутся (эвенки) уже совсем в дорогу, как огонь «чикнет», и эвенки отказываются выезжать из дома, уверяя, что в дороге ждёт несчастье, «огонь не велит ехать». Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору, вып. 1. Составила Г. М. Василевич под ред. Я.-П. Алькора, изд. Ин-та народов Севера ЦИК СССР, Л., 1936, стр. 156.

Неслучайно на эту же сторону эвенкийских верований обратил внимание писатель-землепроходец В. Я. Шишков, для которого Сибирь стала «второй родиной». Его герой тунгус Василий из рассказа «Та сторона» в трудную для него минуту обращается к огню: «Он сейчас зажжёт костёр, ляжет на бок в снег и станет разгадывать, о чём бормочет пламя». Вячеслав Шишков. Собр. соч. в 8 томах, т. М., 1960, стр. 386.

Из Дядино возвращались перед рассветом. Мороз стоял лютый, под пятьдесят. Нас было трое на грузовике, гружённом какими-то кулями.

Уже через несколько минут после того, как машина тронулась, мороз снял с нас собачьи дохи, надетые поверх тёплых зимних пальто.

Холод деревянил тело, и оно теряло ощущения. Мысли текли лениво, как ленская вода под метровой ледяной коркой. Теперь всё казалось безразличным. И даже прощальный диалог хозяйки с шофёром не вызывал больше улыбки.

– Говорила: не грузи шибко-то, – тревожно суетилась около машины Парасковья Ивановна, худенькая женщина с грустными глазами. – Тряхнёшь – и скатятся с кулей-то! Околеют! Мороз ведь!

– Скатятся, – эхом вторил здоровенный шофёр в мохнатой шапке и, скорбно вздыхая, оглядывал покатую гору кулей.

Белая мгла наступала на бегущую по ледяной дороге машину. Вместе с ней волшебным миражом наплывали чудесные обитатели сказочного томшинского мира, перемежались с реальными дядинскими впечатлениями, и все вместе неслись с нами по предрассветью зимнего ленского утра. Жмурил жёлтый глаз Кот Котофеич – «страшный зверь из сибирских лесов», бежал в неведомую сторону «с пустым лапам» неудачливый Волк, где-то у леса манил колдовской зверь-мамонт. Над машиной кружилась белая птица Нивест, а в далёком предутреннем небе яркой звездой горела навеки закаятая Елена-краса.

Белая ленская дорога... Дорога сказки – дорога жизни замечательных сказителей Сибири. Имена многих из них потерялись в неверной человеческой памяти. Но следы, оставленные в душе и сердце, – долговечнее. И народная память хранит эти безымянные, но дорогие образы простодушных бессребренников, которые за постой и хлеб расплачивались золотом мудрости, дарили волшебные мечты.

В среднененских селах Оболкино, Зыряново, Верхне-Марково, Матвеево, Мысово хорошо помнят Мысовского сказителя. Умер он давно, ещё до революции, и фамилии его никто не знает. Да, видимо, и при жизни его звали так же: «Мысовский дед». Завсегдаем-охотником был тот Мысовский дед. Только брал с собой не ружьё, а... «досточку-боковушку». Мужики шкуры обдирают в зимовье вечерами, а Мысовский дед сказки врёт. Да так-то занятно: смотрит на свою боковушку и читает как по-писаному. А сам-то неграмотный был. Потом, когда споткнётся, перевернёт дощечку на другую сторону и продолжает сказ. За то ему и часть добычи»¹⁵.

Помнят в тех же местах и деда Шерстобита. «Прозвали его так потому, что он по деревням ходил и шерсть бил. Сказки рассказывал всегда посреди избы. Ему обязательно много места нужно было. Изображая зверье, становился на четвереньки, то вдруг на людей кинется, кому и затрещину даст. Дедушка Шерстобит любимцем ребят был. Так гурьбой за ним и ходили от избы к избе»¹⁶.

До сих пор рассказывают приленцы и о женщине Охотнице, которая жила самостоятельно, одевалась в мужскую одежду, добывала медведей и прекрасно рассказывала сказки¹⁷. Тепло вспоминают они и того голубоглазого молодого рассказчика, что повстречался на жизненном пути Филиппа Егоровича Томшина, и того «Заливалу», пимоката и сказочника, который постучался как-то зимним вечером в дом тогда ещё молодой М. М. Болдаковой¹⁸. Всю зиму прожил он в их бане, катал валенки да рассказывал сказки, а потом ушёл по весенней ленской дороге, «как растаял».

¹⁵ Записано со слов Г. И. Маркова из села Верхне-Марково Усть-Кутского района.

¹⁶ Записано от него же.

¹⁷ Об Охотнице рассказывали женщины из с. Половинное Усть-Кутского района.

¹⁸ Из воспоминаний сказочницы М. М. Болдаковой в кн: Елена Шастина. Сказки Ленских берегов. Цит. изд., стр. 112.

Так проходили и таяли во времени, как в белой зимней мгле, «странные», унося за плечами к тому убогих пожиток.

Но сказки оставались. Они продолжали жить и тогда, когда по весне таяла и сама белая дорога. «Странных» тогда становилось меньше, потому что трудно продираться человеку в дебрях непроходимой приленской тайги. Зимой хоть и холодно, а все дорога прямее. С неё не собьёшься и уж в конце концов обязательно выйдешь к жилью.

Сказки оставались. Их рассказывали теперь «докие» сельчане. Сказки будоражили душу чудом невиданных происшествий, будили трепетное ожидание нового, манили в неведомое. Их волшебные образы прочно входили в художественное сознание людей, перемежались с уже жившими в нем, становились своими. Эти чужие-свои сказочные истории разносились и по близлежащим деревням. А зимой вновь с нетерпением ждали приленцы, кого приведёт к ним белая дорога Сказки.